



Целитель

Пьеса

Перевод с английского и послесловие МАРКА ДАДЯНА

Снова — Энн

Акт первый Фрэнк

Сцена погружена в темноту. Краткая пауза.

Из темноты доносятся звучащие как заклинание слова ФРЭНКА: “Аберардер, Аберайрон...” В начале второй строки сцена медленно освещается: сперва свет выхватывает его фигуру, затем заливает декорации. Все то время, что Фрэнк произносит эту магическую формулу, он стоит слева у рампы, ноги вместе, голова чуть запрокинута, глаза плотно прикрыты, руки в карманах пальто, плечи сутулятся.

Он человек средних лет. Седой или седеющий. Бледное, морщинистое лицо. Пальто не застегнуто, воротник поднят. Пальто темно-синее или черное, из тяжелой ворсовой ткани. Некогда добротное, оно сильно обносилось и засажено пятнами. Под пальто у него темный костюм, вытертый до блеска. Пиджак узок в плечах. Рукава и брюки короткие. Грязная, когда-то белая рубашка. Мягкий галстук. Носки ярко-зеленого цвета.

Три ряда стульев — в общей сложности не более пятнадцати — занимают примерно треть пространства сцены. Стулья расположены под прямым углом к залу.

На заднем плане — большая афиша:

**ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФРЭНСИС ХАРДИ.
ЦЕЛИТЕЛЬ.
ТОЛЬКО ОДИН ВЕЧЕР.**

[150]

ИЛ 11/2007

Афиша сделана из ткани — может быть, льняной, но очень грязной и потертой.

Фрэнк (*глаза прикрыты*):

Аберардер, Аберайрон,
Лланграног, Ллангириг,
Абергорлех, Абергинолуин,
Лландефейлог, Лланерхимет,
Аберхосан, Аберпорт...

Умирающие уэльские деревни. (*Открывает глаза.*) Перед выступлением я всегда был как натянутая струна, и знаете, что я делал? Пока мы ехали по узким, извилистым дорогам, я повторял их вслух — эти имена, гипнотические, убаюкивающие, колдовские:

Кинлохберви, Инверберви,
Инвердруи, Инвергордон,
Бадахро, Кинлохеуи,
Баллантрей, Инверкитинг,
Кавдор, Кирконнел,
Плайди, Киркиннер...

Уэльские, шотландские — с течением лет они стали неразличимы. Церкви, или молитвенные дома, или школы — все одинаковые, все заброшенные. Разве что где-нибудь в углу лежал высохший сноп зерна с давно миновавшего праздника урожая или остаток рождественского украшения висел на окне — пережитки забытых обрядов. Люди, которые к нам приходили, не знали праздников.

Мы почти никогда не останавливались в городах — арендовать помещение было слишком дорого. Очень редко бывали в Англии, потому что Тедди и Грейси были англичане и считали, да поможет им Бог, что кельтский темперамент нам больше подходит. И ни разу — в Ирландии, из-за меня...

Прошу прощения — **ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФРЭНСИС ХАРДИ. ЦЕЛИТЕЛЬ. ТОЛЬКО ОДИН ВЕЧЕР.** (*Легкий поклон.*) Человек с драной афиши.

Он снимает пальто, выбирает один из крайних стульев и бросает пальто поверх стула. Стул с брошенным поверх пальто будет так же стоять в начале четвертого акта.

Когда мы только начинали, много, ох, много лет назад, на афише было написано: “Фрэнсис Харди, Седьмой Сын Седьмого Сына”. Но афиша выходила слишком дорогой, и Тедди уговорил меня ограничиться скромным эпитетом “фантастический”. Это было его любимое словечко, и, может быть, в этом случае он использовал его к месту. Что до “седьмого сына” — это неправда. В действительности я был единственным ребенком пожилых родителей, Джека и Мэри Харди, и родился я в

деревушке Килмеди, что в графстве Лимерик, где отец мой служил каральным сержантом. Но это другая история...

Удобное имя, правда? Фрэнсис Харди — Фантастический Фрэнсис. Исцеляющий верой. Если вы верите в судьбу, можно сказать, что жизнь моя была определена в тот день, когда мне дали имя. Может быть, если бы меня звали Карлом Поттером, я бы стал... кардиналом-примасом. А если Пэтси Малдуном — быть мне теперь фантастическим премьер-министром. Нет, я не смеюсь над такими вещами. Ни в коем случае. Я не испытываю к ним почтения, но и не насмехаюсь.

Исцеляющий верой — исцеление верой. Ремесло, которому невозможно обучиться, работа без обязательств, призвание без служения. Как я к этому пришел? Молодым человеком я играл в это, и оно овладело мной. Нет, нет, нет, нет, нет, это пустые речи. Нет. Скажем так, я сделал, потому что... мог. Так, наверное, правильнее. Иногда срабатывало, о да, иногда это действительно срабатывало, о да! И когда у меня получалось, когда я стоял перед человеком и возлагал на него руки, и смотрел, как он исцеляется на моих глазах, да, то были минуты торжества, чудесного свершения, но не потому, что я творил добро, облегчал страдания, приносил радость, нет, Боже милостивый, ничего подобного, а потому что вопросы, разрушавшие мою жизнь, на время утрачивали смысл, и потому что на те несколько часов я сам исцелялся, достигал согласия с собой, становился, так сказать, аристократом, если это слово не оскорбляет ваш слух.

Но вопросы, вопросы... Все начиналось просто — с метаний самодовольного юноши. *Неужто мне ниспослан удивительный, неповторимый дар?* Боже мой, да, боюсь, что так. Тут же возникал другой вопрос. *А не шарлатан ли я?* Думать так было бы глупо. Ну, а между двумя нелепыми крайностями роился сонм вопросов. Случайность ли все это? Искусство? Заблуждение? Мания? Какой именно силой я обладаю? Могу ли я вызывать ее произвольно? Когда и как? Служу ли я этой силе? Часть ли она моей способности наделять людей верой в меня или благодаря мне они сами обретают силу и исцеляются, уверовав в исцеление? Могу ли я исцелять без веры? Но веры во что? В меня самого? В возможность исцеления? В веру? Не унижает ли меня эта сила? Вроде как выдаешь себя за другого, да? Становишься шелухой, да? И так далес, и так далес. Глупо, правда? Особенно если учесть, что в девяти случаях из десяти чуда не происходило. Но они не утихали до самого конца, эти исступляющие, мучительные, сводящие с ума вопросы, отравившие мне жизнь. Когда я говорил себе, что не буду о них думать, они подкрадывались из-за угла. А когда мне казалось, что они одолевают меня, я топил их в виски. Какое-то время это помогало. Виски помогало мне пережить ночь. Помогало принять действительность — и когда ничего не происходило, и когда происходило что-то. Но я вам скажу: почему-то я знал наверное, знал с совершенной определенностью, пьяный или трезвый, знал наперед, если ничему не суждено было случиться.

Тедди. Да, давайте я расскажу вам о Тедди, моем импресарио. Кокни. Жизнерадостный. Веселый. Крохотные, беспокойные ножки. Пиджак из рубчатого вельвета, галстук-бабочка, засаленная велюровая шляпа. Я почти ничего не знаю о его прошлом, разве только что он всю жизнь провел в шоу-бизнесе. Я так и не понял, зачем он остался со мной, мы ведь едва сводили концы с концами. Но он питал ко мне привязанность,

может быть, ему казалось, что через меня он связан с чем-то... духовным, и этого ему было достаточно. Случись вам встретиться с ним в баре, он бы загипнотизировал вас взглядом карих глаз. “Душа моя, в свое время я работал с самыми сногшибательными клиентами, уж поверь мне. Но я всех их бросил ради мистера Харди, вон он сидит, потому что нет в мире ничего более фантастического, чем мистер Харди”. Слушая его, я едва не забывал, чем именно он пожертвовал ради наших вояжей — некой Мисс Мулаткой с тремя Голубями и вялым гончим псом по кличке Роб Рой, умевшим извлекать звуки из волынки. Будь я склонен к гордыне, это вмиг бы сбilo с меня спесь. А еще он всегда верил, верил до самого конца, что где-нибудь, когда-нибудь с нами обязательно произойдет нечто “фантастическое”. “Верь мне, душа моя, — мог сказать он, когда бензина у нас в баке хватало как раз на то, чтобы доехать до ближайшей деревни, — верь мне, впереди у нас большой куш”. Он был романтик. И когда он говорил об этой великой удаче, в голове у меня возникали сказочные картины: нас приглашают в королевскую опочивальню, где, оставив в сторону ученых докторов, я возвращаю к жизни спящую принцессу, а потом нас поят и кормят семь дней и семь ночей и отправляют в дорогу с кошельками, полными соверенов. Все-таки у него было много масок. А может быть, он и не был романтиком. Может быть, он знал, что я так подумую. Может быть, он был гораздо проницательнее, чем мне казалось.

И еще была Грейс, моя любовница. Женщина из Йоркшира. Сдержанная, методичная, правильная, любящая порядок. Которая кормила меня, стирала и гладила для меня, нянчилась со мной, развлекала меня. Спасла от пьяной смерти. Попыталась было исправить меня, потому что такова была ее природа, но не стала этого делать, потому что ее инстинкты были мудрее порывов. Грейс Додсмит из Скарборо — или из Нарсборо? Не помню, да и не имеет значения, звучит так похоже. Она никогда не просила, чтобы я женился на ней, и, при всей ее любви к порядку, брак, наверное, был ей не нужен — ей хватало преданности. У нас никогда не было безрассудной страсти, даже в минувшие дни. Но отношения были устойчивые. Длительные. Хотя по мере того как мы старели, мне казалось, что все портится. Потому что эта самая ее добродетель — ее упрямая, безусловная, непобедимая преданность — словно покрывала нас толстым слоем пыли. И ничто, ни моя горечь, ни умышленное пренебрежение, ни мои измены не могли ее поколебать.

Мы приезжали в фургоне, обычно ранним вечером. Вешали афишу. Расставляли стулья и скамейки. Вносили стол, так сказать, для полноты картины. Иногда подметали пол. Грейси готовила чай на примусе. Тедди испытывал усилитель. Я подкреплялся спиртным. Потом мы ждали. И ждали. Наконец, с наступлением темноты, в зал робко входило несколько человек.

Пеннлех, Пенкадер,
Динвеган, Данблейн,
Бен-Лауэрс, Бен-Риннес,
Кирклистон, Беннейн...

Тедди и его усилитель. Я сражался с Тедди из-за музыки раз десять и в конце концов уступил. Мы сошлись на том, что он называл “атмосферической фоновой музыкой”. Когда собирались люди, Тедди подносил микрофон к губам и почтительным, проникновенным голосом просил

их оставаться на местах, пока я иду по рядам. “Никого не обойдут вниманием, душа моя. Расслабьтесь. Не волнуйтесь. И когда мистер Харди подойдет к вам, нет нужды говорить ему, что именно вас беспокоит, — мистер Харди знает. Просто положитесь на него. Вверьтесь ему. И благослови вас всех Бог. А теперь, сердце мое, мистер Харди, целитель!” В эту минуту появлялся я, и тогда же Тедди заводил грампластинку.

И пока я шел вдоль рядов, переходя от одного человека к другому, пока я шествовал между калеками, и слепцами, и уродами, и глухими, и бесплодными, голос в стиле тридцатых выводил песню Джерома Керна¹:

Свет мой, сохрани
Нежную красу,
Сбереги ее, ведь
Так мне дорог
Незабвенный облик твой.

Да, мы всегда балансировали на грани между нелепым и величественным.

(Идет вдоль рядов.) А те, что приходили ко мне — что можно о них сказать? Отчаявшиеся люди. И то, что они приходили ко мне, лекарю-шарлатану, выявляло меру их отчаяния. Они редко говорили. Иногда даже не поднимали глаз. Просто сидели, тихо и безмолвно, предполагая, что я знаю их беды. Жалкие. Униженные. Напряженные. Жажущие открыться и одновременно страждущие оттого, что кто-то посягнул на их одиночество, на покой их мучений. Они ненавидели — о да, да, да! — они меня ненавидели. Ведь придя ко мне, они обнаруживали, они открыто признавали свое отчаяние. И пусть они говорили себе, что явились сюда в надежде на некую отдаленнейшую возможность исцеления, в глубине души они знали, что пришли не за исцелением, а за подтверждением того, что неизлечимы. Не за надеждой они пришли, а за истреблением надежды. За устранением последней, невозможной вероятности исцеления — вот за чем они пришли... чтобы скрепить свою муку, чтобы найти удовлетворение в окончательности приговора.

Они знали, что я это знаю. И потому требовали с вызовом, чтобы я даровал им безнадежность. Но я даже этого не мог для них сделать. И они знали, что я не могу этого сделать. Необычное положение, правда? Нет, не необычное — жуткое. Потому что иногда, только иногда, случалось чудо. И тогда — паника, паника, паника! Извержение! Крушение всех их планов! Внезапный поток — ужасная, безнадежная надежда! Я часто думал, что было бы человечнее не приближаться к ним вовсе.

И еще кое-что. Когда Тедди представлял меня, я смотрел на них, и порой мне казалось, что они здесь не сами по себе, а что они посланцы, *legati*², избранные таковыми из-за их отваги, и что пока мы находимся в этой или другой церкви, где-то снаружи — спокойные, безмолвные, растворенные в сумерках — ожидают, затаив дыхание, сотни людей. И еще

1. Джером Дэвид Керн (1885—1945) — американский композитор, один из создателей жанра мюзикла. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

2. Послы *(лат.)*.

иногда у меня создавалось впечатление, что, если бы мы не пришли к ним, они бы сами нас разыскали.

Мы были на севере Шотландии, когда я получил весть о том, что у моей матери сердечный приступ. В деревушке под названием Кинлохберви, в Сазерленде, на самом севере Шотландии. Живописное местечко, очень тихое, очень красивое, с видом на остров Льюис, самый крупный в архипелаге Гебридских островов. Мы решили отдохнуть там несколько дней. Так или иначе, когда пришла эта весть, Тедди повез меня в Глазго. Грейси хотела ехать со мной и не могла понять, почему я не беру ее. Но обиду она бросила в топку своей преданности и проводила меня в путь с терпеливой улыбкой.

Впервые за двадцать лет я приехал домой. Мой отец вышел в отставку и жил в пригороде Дублина. Открыв дверь, он не узнал меня — пришлось объяснять, кто я такой. Тогда он пожал мне руку, словно встретил знакомого, и повел меня наверх, в спальню.

Она выглядела точной такой, какой я ее помнил, — болезнь не изменила ее черты. Она будто тихо спала. Кожа гладкая, как у девочки, подбородок задран точно в ожидании чего-то. Господи, подумал я, Господи Боже, что же мне делать?

— Она выглядит хорошо, — сказал он.

— Да, — ответил я. — Выглядит прекрасно.

Он прочистил горло.

— Она ушла спокойно. Ты разминулся с ней примерно на час и десять минут, — сказал он так, будто давал показания. А потом заплакал.

Тут у меня как камень с души свалился и я заплакал вместе с ним — легко и свободно.

Двадцать лет спустя я снова приехал в Ирландию, на этот раз с Тедди и Грейси. Мы уже давно бедствовали. Как выразился Тедди: “Если мы хотим есть, нам нужно открывать новые земли, сердце мое. Вы вылечили их всех. Вперед, отправимся на тучные пастбища Ирландии”. И я согласился, потому что донельзя устал от Уэльса и Шотландии. А виски уже не помогало, как раньше. И еще я согласился потому, что за несколько лет до того умер мой отец. Наверное, я всегда знал, что в конце концов мы окажемся здесь. Так, в последний день августа мы переправились из Странрара в Ларн и всю ночь ехали в графство Донегол. Там мы остановились в пабе, по сути, в небольшой гостинице с первоклассным баром, у въезда в деревушку Баллибег, недалеко от городской черты Донегола.

У меня не было ощущения, что я вернулся домой. Я пытался вызвать в себе ностальгию, но ничего не шевельнулось. Всплыло всего несколько воспоминаний, тусклых и невыразительных. Мне вспомнилось, как отец смотрит на меня через зарешеченное окно гостиной, пока я иду в школу, — мы снимали дом на противоположной стороне улицы. Как я играю с наручниками, продевая и вытаскивая из колец руки. Как мать печет хлеб, тихо напевая псалом: “Ибо велика ваша награда на небесах”. Как отец показывает бараки группе людей — кажется, то были инспекторы из Дублина — и то и дело говорит: “Конечно, господа, безусловно, господа, как скажете, господа”. Может быть, вспомнилось что-то еще. Но в душе ничего не шевельнулось.

Спустившись вниз, в обеденный зал, мы застали там нескольких гостей, которые остались после недавно закончившегося свадебного ужи-

на — четверых молодых людей, местных фермеров, чей друг несколько часов назад отбыл в свадебное путешествие. Хорошие костюмы. Белые гвоздики в петлицах. Темные, квадратные лица. Толстые пальцы и грязь под ногтями. Некоторое время они делали вид, что не замечают нас. Потом Нед, самый крупный из парней, резко спросил, кто мы такие и что здесь делаем. Тедди объяснил им: “Душа моя... самый... самый... сногшибательный... фантастический”. И то ли из-за несуразности сказанного, то ли из-за того, что все мы были напряжены, они вдруг разразились хохотом, и мы обнялись. Мы сели кругом и стали пить и болтать. Грейси запела... что же она пела? “Илкли Мур”? Что-то вроде этого. Тедди развлекал их рассказами о наших странствиях — отчаянно смешными или сентиментальными. Потом его карие глаза увлажнились и он сказал: “Сердце мое, сколько же я узнал за эти годы о природе истерзанного рода человеческого”. И тут я почувствовал, что действительно вернулся домой. Ирония улетучилась.

Потом вдруг один из четверки гостей, парень по имени Донал, он молчал почти весь вечер, потряс перед моим носом скрюченным пальцем и вызывающе сказал: “Выпрямите его, мистер Харди”. И в баре вмиг стало тихо.

Я жаждал палец между ладонями и впился взглядом ему в лицо. Парень сразу смутился, он уже хотел отказаться от своих слов. Запинаясь, он принялся рассказывать о несчастном случае — что-то о тракторе, коробке передач, неисправном сцеплении. И пока он говорил, я массировал изувеченный палец. А когда он замолчал, я раскрыл ладони и отпустил его. Палец был прямой...

Бадраллах, Килмор,
Лланфайтли, Лланфехелл,
Кинкардин, Кинросс,
Лохкаррон, Лохлигелли...

Мы гуляли всю ночь. Пили за здоровье хозяина, утверждавшего, что знал моего отца, а позже, ближе к утру — что они были близкими друзьями. Пили за Тедди и Грейси. Пили за мое возвращение. За палец Донала. Пили за отбывшего жениха и его мужскую силу. За невесту и ее будущее потомство. За богатый урожай — за овес, за пшеницу, за ячмень. За каждый сентябрь и за каждый урожай, за все урожаи и за все, что созрело для жатвы. Дионисийская ночь. Вакханалия. Безумная, избыточная ирландская ночь, когда намеренно отбрасываются все приличия.

Затем, незадолго до рассвета, кто-то помянул Макгарви. Их лучшего, их ближайшего друга Макгарви, который в былое время гулял с ними, и танцевал с ними, и пил с ними, и строил с ними дороги, и снимал с ними дерн. Макгарви, он сегодня должен был быть шафером, Господи, кто, как не он? Но он даже не пришел на свадебный ужин. И вот, пока они воссоздавали его образ, я увидел Макгарви, увидел его искаженное лицо, его лиловатые руки и горящие глаза, увидел, как он в безысходной тоске скрючился в кресле-каталке. Увидел и узнал его еще до того, как Тедди, с присущей ему английской бесхитростностью, спросил, почему его нет с друзьями. Еще до того, как Нед рассказал нам о падении с подмостей, о параличе. Увидел его и представил себе нашу встречу: открытое пространство, обнесенный стенами двор, деревья, оранжевое небо, теплый ветер. И понял, понял с чувством холодной неизбежности, что ничего не произойдет. Совсем ничего.

Я стоял у окна и смотрел, как они отправились за Макгарви. Четверо друзей залезают в выдавший виды автомобиль. Вот, озаботившись судьбой друга, они посерьезнели. Вот они с преувеличенной вежливостью открывают друг другу двери: садись вперед, нет — ты, нет — ты. Машина оседает под их тяжестью. Потом они уезжают.

Тедди в пьяном оцепенении мешком лежал в углу. Грейси ходила между столами, опустошая пепельницы, собирая стаканы, расставляя их на стойке, поправляя стулья. Ни малейшего намека на опасность. Я предложил ей идти спать, и она ушла. А почему бы и нет? Уборку она закончила.

Очень медленно ступая, он подходит к рампе и останавливается у самого края сцены. Пауза.

Первые ирландские гастроли! Триумфальное возвращение домой! Все сначала! Все обещает быть фантастическим! И вот я делаю вид, что согласен играть в этом фарсе. (*Смеется.*) Да, возвращение Фрэнсиса Харди. (*Снова смеется.*)

Но мы вскоре перейдем к этому. Или, как сказал бы Тедди, “Почему бы нам не оставить это на потом, сердце мое? Почему бы нам не поступить так? Почему нет?”

В самом деле.

Секунды три он смотрит в зал.

Сцена быстро темнеет.

Акт второй

Грейс

На сцене — ГРЕЙС ХАРДИ. Декорации те же, что в первом акте, но ряды стульев исчезли. Она сидит на деревянном стуле подле столика, на котором видны пепельницы, недопитая бутылка виски, стакан, пачки сигарет.

Ей немногим более сорока. Она безразлична к своему внешнему виду и едва скрывает сильнейшее душевное смятение. Много курит, иногда прикуривая одну сигарету от другой.

ГРЕЙС (*глаза прикрыты*):

Аберардер, Аберайрон,
Лланграног, Ллангириг,
Абергорлех, Абергинолуин,
Пеннлех, Пенкадер,
Лландефейлог, Лланерхимет...

Самое неотступное воспоминание (*открывает глаза*), самое неотступное и самое мучительное...

Но мне действительно лучше, я действительно стала лучше владеть собой, это так. Я измеряю степень своего выздоровления — дурацкие измерения, я знаю, и он точно поднял бы меня на смех, — но я научилась измерять свое выздоровление по количеству часов сна, и по количеству выпитого, и по количеству выкуренных сигарет. Они говорят, я должна быть за многое благодарна. Я знаю. Да, мне нравится жить в Лондоне.

Квартирка маленькая, но теплая и удобная. Отсюда приятно пройтись до библиотеки в Паддингтоне, где я по четыре часа работаю каждое утро. Обратно, если день хороший, я обычно иду через парк. По ночам слушаю радио или читаю — да, я много читаю, — беллетристику, исторические книги, биографии, прочитываю все, что приношу домой, все, что удобного формата. А еще я начала плести коврик для камина — посижу над ковриком, или попробую новый рецепт, или почитаю газету, или займусь вязанием, или — или... А по четвергам я хожу к доктору, чтобы возобновить рецепт на таблетки. Он сказал мне на прошлой неделе, вот что он мне сказал: “Ну конечно, вы перенесли душевное потрясение, миссис Харди, просто чудовищную душевную травму. Но теперь все — это все в прошлом. И вам нужно быть с собой построже, правда. Вы ведь когда-то были адвокатом? Что ж, в дело вашего выздоровления вам следует внести ту же строгость мысли, ту же дисциплину, с которой вы некогда вели судебное разбирательство”. Он сидел за письменным столом, в руке подрагивала золотая авторучка, на нем был серый костюм и строгий галстук, в ясных глазах читалось участие. Ему, видно, понравилось сравнение, и вообще он выглядел таким чистеньким, таким симпатичным, таким знающим, да, и таким невинным, он был так благожелателен и терпелив, для него все было так просто. Тут я поняла, что киваю ему. “Да, да, да, — говорю ему, — да, да”. Так я кивала Фрэнку, особенно в последний год — да, да, да, Фрэнк, ты знаешь, что сможешь, Фрэнк, клянусь, что сможешь, — но он смотрит на меня подозрительно, для него все было непросто, он смотрит и испытывает меня лукавыми вопросами, и строит дьявольские умозаключения, и пробует на зуб мои доводы, выискивая малейший намек на преувеличение или нерешительность, но все равно, все равно он черпал во мне силы — о да, я уверена в этом, он находил во мне утешение, я совершенно в этом уверена, потому что в конце концов он опустошил меня, в конце концов я истощилась.

Но мне действительно лучше. Наверное, этим я хочу сказать, что теперь я позволяю себе кое-что вспомнить, я могу открыться для этих воспоминаний, как больной, которому снова начинают давать твердую пищу. Помню тот вечер, когда старый фермер в деревеньке недалеко от Кардиффа дал Фрэнку двести фунтов за то, что он излечил его от хромоты, — просто отдал ему бумажник, — и мы сняли номер в “Роял Аберкорн” и четыре дня жили как короли. И еще — те пасхальные выходные, что мы провели гуляя по Грампианским горам. Об этом я могу думать. Да, на такие воспоминания я откликаюсь. Потому что они были частью нашей жизни. Но как только я расслабляюсь, как только мне начинает казаться, что я снова обрела себя — *(Зажмуривается.)*

Абергорлех, Абергинолуин,
Лландефейлог, Лланерхимет
Аберхосан, Аберпорт...

Зима, темень, дождь, узкие дороги Уэльса, мы едем на выступление. *(Открывает глаза.)* Он всегда называл это выступлением, насмешливо выводил это слово: “Где я сегодня *выступаю?*”, “Неужели вы думаете, что это подходящее место для *выступлений?*” Будто это игра, в которой он примет участие, если ему захочется. Может быть, по-другому он об этом и не мог говорить. Итак, Тедди, как обычно, ведет автомобиль, я — на пассажирском сиденье, а непосредственно за нами он, ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ФРЭНСИС ХАРДИ. ЦЕЛИТЕЛЬ, с бутылкой виски между коленями, сидит, повернувшись к нам спиной, на полу фургона, нет, не сидит, горбится, почти вжавшись в пол, сосредоточенный и счастливый — нет, нет, не счастливый, конечно не счастливый, не думаю, что он когда-либо знал счастье, — но всегда перед выступлением он совершенно... владел собой — да, так будет правильнее, — он настолько владел собой, что для него все приходило в гармонию, владел собой так, что все становилось возможно. И когда с ним заговаривали, он поворачивал к вам голову и смотрел куда-то мимо, из глубины этих проклятых глаз, исполненных милосердия, сознавая собственную цельность, свою тайную власть, ту подлинность, что была доступна ему одному. Господи, как же я ненавидела эту отрешенность! Он декламировал названия умирающих уэльских деревень: Аберардер, Аберайрон, Лланграног, Ллангириг, — произносил их особым голосом, которым говорил только в этих случаях, будто благословляя эти места или же посвящая себя им. Тогда я переставала для него существовать. Много, много раз. Но перед выступлением это изгнание — нет, не изгнание, уничтожение — становилось абсолютным, он просто стирал меня из памяти. Ту, что ухаживала за ним, развлекала его, нянчилась с ним, поддерживала его — что возвращала себя для него. Да. Это самое навязчивое воспоминание. И когда я вспоминаю его таким, сидящим на полу фургона, Господи, как же я его ненавижу —

Кинлохберви, Инверберви,
Инвердруи, Инвергордон,
Бадахро, Кинлохеуи,
Баллантрей, Инверкитинг,
Кавдор, Кирконнел,
Плайди, Киркиннер...

(Тихим голосом, почти мечтательно.) Кинлохберви, где похоронен младенец, в двух милях к югу от деревни, в поле, по левую сторону дороги, если следовать на север. Смешно, что я никогда не встречала никого, кто был в Кинлохберви, даже шотландцев. Но она правда *существует*, эта крохотная деревенька, очень отдаленная, на самом севере Сазерленда, пожалуй, севернее в Шотландии и ехать некуда. Местные говорили мне, что в хорошую погоду это прелестное местечко, и отсюда, через море, можно разглядеть остров Льюис, что в Гебридском архипелаге. Мы оказались там случайно и больше туда не возвращались, а в ту неделю, что мы провели там, все время шел дождь, даже не дождь, просто в воздухе висела тяжелая влажная мгла, так что не было видно и края дороги. Но я уверена, что в хорошую погоду это прелестное местечко. Так или иначе, именно там похоронен младенец, в Кинлохберви, в Сазерленде, на севере Шотландии. Фрэнк соорудил деревянный крест, поставил его на могилу, выкрасил в белый цвет и написал на нем: “Дитя Фрэнсиса и Грейс Харди”, без имени, разумеется, потому что ребенок был мертворожденным, просто так — Дитя. Я уверена, что креста уже нет, он был непрочный, вокруг паслись коровы, да и не кладбище это было вовсе. Я родила его в фургоне, и рядом не было ни акушерки, ни врача, так что никто ничего не знал, кроме Фрэнка, Тедди и меня. И возле могилы не было священника — Фрэнк просто произнес несколько молитв, которые сочинил сам. Так что никаких записей не сохранилось. И он никогда больше об этом не говорил. Ни разу не упомянул. А раз он об

этом не говорил, молчала и я. С этим было покончено. Покончено навсегда. Да. Но мне кажется, что это хорошее название, Кинлохберви, полнозвучное, его не просто забыть... (*Снова говорит напряженно.*) Боже, он был такой извращенный человек! Он так умел ранить. Одна из его подлых выходок состояла в том, чтобы унижить меня, изменив мою фамилию. Я становилась то Додсмит, то Элиот, то О'Коннелл или Макферсон — что ему взбрело в голову; я происходила из Йоркшира, из Керри, из Лондона, из Скарборо или из Белфаста; а еще он якобы излечил меня от болезни крови; а еще мы якобы не были мужем и женой — я была его любовницей, только так, это никогда не менялось: “Вы ведь не знакомы с Грейси Маклюр? Это моя любовница”. Он хорошо знал, что это причинит мне боль, и правда, его слова каждый раз ранили меня. А ведь мне следовало привыкнуть. Но привыкнуть не получалось. А Тедди... Тедди был не просто дядькой из цирка шапито, у которого из-за мелкого воровства вечные нелады с полицией, а верным слугой, преданным сподвижником святого. Дело не в том, что Фрэнк был лгуном, да, я знала, что он хочет сделать мне больно, но все было гораздо сложнее, я никогда этого не понимала: он непрестанно стремился изменить, пересоздать все, что его окружало. Даже приходившие к нему люди — это были не просто больные, растерянные, испуганные люди, ждущие исцеления. Нет, нет. Для него они были... да, они были настоящие, но настоящие не как личности, а как выдумки, его выдумки, как продолжение его самого, как порождение его естества. И если он излечивал человека, тот становился для него удачной выдумкой, то есть обретал настоящую жизнь, и он говорил мне потом: “Интересный тип, правда? Я знал, у меня получится”. Но если ему не удавалось излечить человека, он его немедленно предавал забвению, тот растворялся, как если бы никогда не существовал. Даже его отец — а если он и любил кого, так это своего отца, — даже его отец вечно менял образ, и не только при жизни. На самом деле он заведовал складом на заводе в Лимерике — я встречалась с ним однажды, славный старик. Но Фрэнку этого было недостаточно — он превращал его то в каменщика, то в садовника, то в водителя автобуса, то в караульного, то в музыканта. Мне кажется — тут я подыскиваю слова, — похоже, он наделял человека индивидуальностью в соответствии с некими собственными критериями совершенства, и когда критерии менялись, менялись и люди. Но я уверена, что именно тяга к совершенству крылась за его тревогой, именно на этом он был сосредоточен.

Мы были в Уэльсе, когда он получил известие о смерти отца. Он поехал один. А вернувшись, говорил так, как будто умерла его мать. “Она ушла спокойно, — сказал он. — Не знаю, как отец будет без нее справляться”. Дело в том, что его мать умерла за много лет до того, как я его встретила. Ох, он был сложный человек.

Когда я впервые пришла на прием к врачу, он, заполняя карту, спросил: “Чем занимался ваш покойный муж, миссис Харди?” — “Он был артист”, — ответила я быстро и буднично, но с полной убежденностью, так, как это мог бы сказать он сам. Ну не чудно? Ведь раньше эта мысль никогда не приходила мне в голову. А потом, когда я ее высказала и доктор записал мои слова, я поняла, что это правда...

Однажды я его оставила. Да, оставила *его!* Встала и ушла. Боже, как тяжело об этом думать! Мы были женаты уже семь лет, а в тот год у ме-

ня случился плеврит и два выкидыша, один за другим, так что, сказать по правде, мне было очень себя жаль. Той зимой мы жили в пустом доме в Норфолке, в нескольких милях от ближайшей деревни, вообще-то это был приспособленный под дом коровник. Помню, как я стояла на коленях у крошечного камина и плакала, потому что сырые поленья никак не хотели разгораться, а ночью пыталась уснуть на отсыревшем матрасе, брошенном прямо на пол. Мы поссорились из-за чего-то, из-за каких-то глупостей. А я, наверное, была очень подавлена или просто довела себя до дурацкого истерики, потому что, поддавшись безумному порыву, оторвала листок старого календаря и написала на обратной стороне: “Милый Фрэнк я оставляю тебя потому что не могу более выносить греховности нашей жизни не ищи меня я очень люблю тебя Грейс”. Ну не ужасно ли! “Я очень люблю тебя” — такому человеку! И еще это: “Не ищи меня”. Не ищи меня! Боже, какая наивность!

Короче говоря, я поехала домой. В первый и последний раз. Ночью села на паром в Глазго, потом добиралась автобусом до Омы и еще три мили пешком до Кнок-Мойля. Помню, что некоторое время я стояла у ворот и смотрела на длинную аллею, обсаженную высокими прямыми тополями, и дальше, на лужайку, на строгий японский сад и на неопрятный огород, где когда-то копалась, бесцельно коротая дни, моя странная мать. Помню ее вечный головной платок и высокие сапоги. Меня вырастила Брайди, экономка; мать половину жизни провела в психиатрической лечебнице.

Отец был в столовой, сидел в плетеном кресле у огромного камина, с пледом на коленях. Он смотрел прямо перед собой, чуть подав вперед голову, совсем как в былые годы, когда, занимая кресло судьи, грозно выговаривал ответчику. Удар пощадил его — выглядел он превосходно: лицо патриция, аккуратно расчесанные седые волосы, безупречный серый костюм.

Я постучала по столу, чтобы не испугать его, и сказала:

— Это я, отец. Это Грейс.

— В чем дело? Говорите громче!

Я слышала, как хлопчет на кухне старая Брайди, и боялась, что она услышит меня, придет и заключит меня в объятия, а я не успею расцеловать отца, не успею сказать ему, как мне больно и как часто я о нем думала.

Я обошла комнату и теперь стояла прямо перед ним.

— Это Грейс, отец.

— Да? Да?

— Грейс. Грейси.

— Говорите громче. Вы бормочете невнятицу.

— Тиммикинс, — сказала я. Так он называл меня в детстве.

— Кто?

— Тиммикинс.

— Я знаю, кто это.

— Я приехала домой, чтобы повидать тебя.

Он смотрел на меня долго и пристально. Его рот открывался и закрывался, но оттуда не выходило ни звука. А потом вдруг слова и память вернулись к отцу одновременно.

— Ты сбежала с лекарем-шарлатаном. — Нет, он не обвинял меня. Он только ждал, чтобы я подтвердила его слова.

— Фрэнк и я поженились, — сказала я.

— Да, ты сбежала с шарлатаном сразу после получения диплома. И ты убила свою мать — тебе это известно. Но я говорил ей, что ты вернешься. Полгода, говорил я. Дай ей полгода, и она приползет обратно.

Я сидела перед ним на корточках и сжимала его холодные руки. Наши лица были так близко, что я ощущала запах у него изо рта.

— Отец, — сказала я. — Отец, послушай...

Но теперь слова изливались из него беспрестанно, не гневные слова, а заученные фразы усталого судьи, который приговаривает меня к девяти месяцам тюрьмы, но откладывает исполнение наказания, ибо понимает, что я происхожу из хорошей семьи с долгой и достойной уважения историей: все мужчины на государственной службе, — и надеется, что вскоре я раскаюсь и искуплю грех против моей почтенной семьи и предательство собственной профессии, а также предупреждает меня, что, если я вновь окажусь на скамье подсудимых, ему ничего не останется, кроме как отправить меня в тюрьму и вынести мне наисуровейший приговор, предусмотренный законом, и прочее, и прочее, и прочее.

И пока я смотрела на него, и слушала его, и ощущала на лице уколы его мелких плевков, меня вдруг охватил порыв — слава богу, что я не поддалась ему, — мимолетный порыв сделать нечто отвратительное, постыдное: мне захотелось проклясть его, нет, не проклясть — осыпать его бранью, медленно, громко, грубо бросить страшные непристойности ему в благодарное лицо, слова, которые он никогда не произносил, слова, немислимые в этом доме. Ведь даже в смятении ума он понял бы, что этим я навсегда отрекаюсь от его стройных тополей, от семейной профессии и от его регулярного японского сада. Но что еще важнее, гораздо, гораздо важнее, он расценил бы это как дерзкую клятву верности моему шарлатану, и фургону, и сырым поленьям, и примусу, и грязным комнатам, и всему остальному, что он именовал убожеством. Слава Богу, я этого не сделала. Вместо этого — он все еще зачитывал мне приговор — я просто ушла. Больше я его не видела. Он умер в том же году. А следующим вечером я снова была в коровнике в Норфолке, снова лежала на отсыревшем матрасе и целовала Фрэнка, его лицо, плечи, грудь, и просила у него прощения; а он был пьян и почти ничего не говорил, и только лукаво мне улыбался. А потом я снова забеременела и на этот раз выносила ребенка. Того самого тощего ребенка с черным лицом, который похоронен в поле близ Кинлохберви, в Сазерленде, на севере Шотландии.

Бадраллах, Килмор,
Лланфайтли, Лланфехелл,
Кинкардин, Кинросс,
Лохкаррон, Лохлигелли...

(Обращаясь к афише.) Целительство — исцеление верой, я никогда этого не понимала, никогда. Я пыталась. Поначалу я очень старалась — я стремилась относиться к этому со всей возможной строгостью мысли, как сказал бы доктор. Но я даже не приблизилась к пониманию этого... дара, ремесла, таланта, искусства, волшебства — чем он там ни обладал, того, что определяло его естество, что, так сказать, составляло его сущность. И, вероятно, потому, что в *этом* была его сущность и она от меня ускользала, я относилась к его дару настороженно. Конечно, настороженно. И он это знал. Поистине, если бы Фрэнк, лишившись дара, ка-

ким-то чудом мог остаться Фрэнком, я бы с радостью отняла у него этот дар. И он это тоже знал — ох, как хорошо он это знал. В его извращенном уме моя настороженность была равноценна предательству. Вот что я сделала: я научилась — я научилась не вникать, я старалась держаться в стороне. И некоторое время, как мне казалось, это устраивало нас обоих: мы сохраняли нейтралитет. Но с течением времени, особенно в последние годы, когда он стал еще раздражительнее и грубее, он начал воспринимать мою отстраненность как нечто обидное, даже враждебное — или делал вид, что так считает, понять его до конца было невозможно, — и принялся втягивать меня в кошмарную распрю, что шла у него с его даром. И тогда мы начинали рычать друг на друга, и рвать друг друга в ключья, и говорили слова, которые вообще не следовало говорить, слова, медленно отравлявшие нашу жизнь. Когда талант не изменял ему, он бывал менее агрессивен — излечив кого-нибудь, он удовлетворялся позерством, насмешками: “И что обо всем этом думает корифей юриспруденции? Просто жулик, правда? Ведь это просто иллюзия, да?” А я делала вид, что не слышу, и начинала убирать стулья или снимать афишу. Но если у него ничего не выходило — а в последние два года, по мере того как росло его отчаяние, это случалось все чаще, — он бросался на меня, как если б я была виновата в его неудаче, и кричал: “Ну что, мисс О’Двайр, сегодня вечером вы превзошли саму себя, правда? Блистательный вечер для законников, да? Ах ты мстительная, злобная сука”. Я начинала защищаться. И мы буквально разрывали друг друга на части.

Как только открывались двери, я занимала свое место — за столом, если в зале был стол, или же с подносом на коленях. Потому что иногда они платили при входе, и порой гораздо больше, чем могли себе позволить, может быть, потому, что надеялись расположить к себе Фрэнка. Там я и оставалась сидеть в течение всего вечера и собирала деньги, что они оставляли при выходе.

А когда все рассаживались, *все!* — зачастую людей приходило не более полудюжины, Тедди заводил пластинку, старую, шипящую пластинку с записью песни “Незабвенный облик твой”. Я умоляла Фрэнка сменить запись, найти что-нибудь другое, хоть что-нибудь. Но он отказывался наотрез. Песня должна была оставаться той же. “Мне она нравится, — говорил он, — и к тому же она сбивает их с толку”.

Потом выходил Тедди и делал объявление.

А потом появлялся Фрэнк.

Жаль, что вы его не видели. Нет, он не был красив. Красивым назвать его нельзя. Но, когда он выходил к этим людям, шел между ними, дотрагивался до них, в нем — хотя часто он бывал полупьян — ощущалось... величие. Я сидела там, смотрела на него и часто говорила себе, просто не могла сдержаться: “Ах ты счастливица”. Да, это так, это правда.

Она садится и наливает виски.

Я не хотела возвращаться в Ирландию. И Тедди не хотел. Но он настаивал. Он уже много месяцев был в плохой форме, и, хотя не говорил этого — он бы никогда не признался, — я знала, что он втайне надеялся, будто Ирландия вновь его наэлектризует, может быть, даже возродит его.

Потому что в тот год он словно потерял связь со своим даром. Конечно, он слишком много пил, и пропускал выступления, и затевал драки с незнакомцами — припирали кого-нибудь к стенке в пабе и хвалились, что может творить чудеса, а над ним потешались. Или же просто лежал на полу фургона — теперь мы большую часть времени жили в фургоне, — дни напролет лежал в фургоне, ничего не ел, не произносил ни слова.

Но главная беда была в целительстве. Не то что он не старался, мне кажется, старания тут вообще ни при чем, напротив, он старался слишком сильно, из кожи вон лез, и обычно ничего не происходило, совсем ничего. Как раз за несколько недель до возвращения, в Килмарноке он встретил в винном магазине старуху и сказал ей, что может излечить ее от артрита. Он попытался. И не сумел. В прежние годы он о ней бы и не вспомнил. Но эта старуха стала для него наваждением: он разузнал, где она живет, снова и снова приходил к ней домой, пока наконец ее зять не вышвырнул его вон и не пригрозил ему полицией.

Так, в последний день августа мы переправились из Странрара в Ларн и всю ночь ехали в графство Донегол. Там мы остановились в пабе, по сути, в небольшой гостинице с первоклассным баром, у въезда в деревушку Баллибег, недалеко от городской черты Донегола. (*Снова приходит в движение.*) Странно, что тот вечер начался так хорошо. Помню, как я смотрела на него и думала: да, интуиция его не обманывала, здесь он оживет — он был такой безмятежный, такой обаятельный, он ведь мог очаровать каждого, если только хотел. Он даже пил спокойно, не заглатывая первые три-четыре стакана, будто это только предисловие. Он дружески болтал с хозяином — об урожае, о рыбалке, о туризме. Даже представил меня как свою жену — Боже мой, уже это должно было меня насторожить.

В зале сидела группа молодых людей, пятеро, все местные, они как раз возвращались со свадьбы друга. А один из них, самый молодой, был в кресле-каталке. Они устроились в уголке, и видно было, что они не хотят, чтобы им мешали. Когда я увидела, что он направляется к ним, мне стало беспокойно. Не знаю, что он такое им сказал, но они вдруг заулыбались и стали пожимать ему руку, а потом все переместились в центр зала, и он позвал меня, и мы сели в круг, один из парней заказал выпивку, к нам присоединился хозяин, и мы болтали, смеялись, рассказывали истории и пели песни. Где был Тедди? (*Вспоминаю.*) Да, он тоже был там, сидел чуть поодаль, слегка пьяный и немного озадаченный. Все начиналось так весело, так счастливо — да, счастливо, счастливо, счастливо! Счастливы были молодые люди. Я была счастлива. И Фрэнк, да, да, я знаю, тоже был счастлив. А потом как гром среди ясного неба — мы говорили об азартных играх — Фрэнк вдруг наклонился к одному из свадебных гостей, к парню по имени Донал, и сказал: “Я могу вылечить твой палец”. И сказал он это так буднично, так естественно, как если бы просил стакан воды. Так естественно, что остальные даже не расслышали ничего и продолжали болтать. Тогда он схватил и зажал скрюченный палец между ладонями, и легко помассировал его, и отпустил, и палец стал прямой, и он тут же повернулся ко мне, и с ледяной, торжествующей, театральной улыбкой произнес: “Это только начало”.

И я сразу поняла, я нутром почувствовала, что еще до рассвета он попробует свои силы на калеке.

Так он и сделал. Да. Снаружи, во дворе. Я смотрела из окна второго этажа. Но это случилось гораздо позже, перед самым рассветом. А до того, весь остаток ночи, пока остальные напивались до помешательства, он сидел недвижно и очень тихо, полуприкрыв глаза, но ни разу, ни на мгновение не оторвал взгляда от инвалида.

Прежде чем они вышли во двор — было уже почти утро, — я схватила его за локоть. “Ради Бога, Фрэнк, пожалуйста, ради меня”. Он посмотрел на меня, нет, не на меня, не на меня, а куда-то мимо, в сторону, посмотрел из глубины этих проклятых, исполненных милосердия глаз. Я для него не существовала...

Аберардер, Кинлохберви,

Аберайрон, Кинлохберви,

Инвергордон, Кинлохберви... в Сазерленде, на севере Шотландии...

(Говорит механически.) Но мне действительно лучше. Я действительно стала лучше владеть собой. Я измеряю степень своего выздоровления по количеству часов сна, и по количеству выпитого, и...

Господи, как плохо, Боже, как же мне плохо, как же я хочу, чтобы открылась дверь, и этот человек вошел в комнату, и подошел ко мне, и закрыл мне лицо своими белыми руками, и усмирил бушующий во мне мятеж. Боже мой, я тоже одна из его выдумок, но мне необходимо, чтобы он поддержал меня в этой жизни. Господи, не знаю, смогу ли я прожить без его поддержки.

Свет медленно гаснет.

Акт третий

Тедди

Мы видим Тедди на сцене. Ему, вероятно, больше пятидесяти, но сказать это с точностью нельзя, потому что присущая ему, как человеку сцены, живость и дерзкая самоуверенность скрадывает возраст.

На нем галстук-бабочка, клетчатая рубашка, мужская домашняя куртка и тапочки.

Он сидит у стола — у того же столика, что был на сцене во втором акте. Только у Тедди более удобный стул, чем у Грейс. Он слушает пластинку с записью песни “Незабвенный облик твой” в исполнении Фреда Астера — проигрыватель очень старый, пластинка заигранная.

Иногда, во время монолога, он подходит к запирающемуся шкафчику, вроде больничного, где держит бутылки с пивом. Рядом со шкафчиком — пустая корзина для собаки.

Афиша висит так же, как в первом и втором актах.

Тедди сидит с закрытыми глазами, откинув голову, вслушиваясь в музыку.

В стужу, в час тоски ночной,

Когда мир застыл,

Станет вдруг тепло...

Мне — утешенье

Незабвенный облик твой.

В конце первого куплета он открывает глаза, видит, что его стакан пуст, идет к шкафчику, достает бутылку пива и снова садится. Отпивая из стакана, Тедди вторит строчкам песни:

Свет мой, сохрани
Нежную красу,
Сбереги ее, ведь
Так мне дорог
Незабвенный облик твой.
Мм, мм, мм, мм,
Незабвенный облик твой.

Ну как вам, а? Фред Астер. Фантастика, правда? Фредди, он один из лучших. Просто фантастика. Весь день могу это слушать. (Поет.) “Незабвенный облик твой...” Грейси настояла на том, чтобы мы сделали это нашей музыкальной темой. И знаете почему? Ему бы она не созналась, а мне сказала. Потому что эта песня была популярна в тот год, когда они с Фрэнком поженились. Можете себе представить? Конечно, прошло много лет, она и позабыла. А он, конечно, так и не узнал, почему песня стала нашей темой, может быть, думал, что у меня извращенное воображение. В конце концов они оба стали обвинять меня, будто я выбрал эту песню! Но, честно говоря, к тому времени она мне и самому понравилась. В любом случае других пластинок у нас не было, поэтому я оставил все как есть. Бедный Тедди, он один из всей троицы понимал ее романтическое значение. Сердце мое, вот что я вам скажу — проживите жизнь на сцене и станете философом.

Но ведь мелодия фантастическая, правда? Вспомните всех великих артистов — старого Фредди, Лили Ленгтри, сэра Лоренса Оливье, Гудини, Чарли Чаплина, Грейси Филдс... Задавались вы вопросом, что их вывело на самый верх, что у всех у них общего? Ладно, скажу сам. Три вещи. Первое — у них в-о-о-т такое честолюбие. Так? Второе — у каждого из них талант, сногшибательный и неповторимый. Есть только один сэр Лоренс, так ведь? Третье — у них у всех голова пустая. Думаете, я шучу? Я точно вам говорю. Они знают, конечно, что обладают чем-то фантастическим, они не настолько глупы. Но вот чем именно они обладают, как они это делают, как это действует, в чем сногшибательность их дара, что все это значит — верьте мне, они этого знать не знают, да им и наплевать, а если б это их и заботило, им ума не хватит, чтобы разобраться.

Давайте я расскажу вам о двух своих собаках. Ладно? Одна из них, белый пудель, была потрясающей, то есть я хочу сказать, эта собака знала, о чем вы думаете, еще до того, как мысль приходила вам в голову. Знаете, что она делала вечером перед моим приходом домой? Она включала электрический камин, опускала занавески и приносила к моему стулу тапочки и бутылку пива. Но поставьте ее перед зрителями — все, раскисала сразу, ничего не могла сделать. Так вот. Теперь другая собака. Это был гончий пес. Может, вы его помните — Роб Рой, по прозвищу Дудочник?

Краткая пауза.

Ну, уже порядочно лет прошло. Короче, фантастический был пес. Только скажите мне, сколько раз в жизни вам выпадала удача послушать гончего кобеля-трехлетку, который исполняет на вольнке “Выходи в сад, Мод”, а потом, *на бис*, еще и “Plaisir d'amour”¹? Так? Согласны. Сногсшибательный талант. Честолюбие? Он вечно репетировал, я не мог заставить его замолчать. Утром, днем и вечером он сидел и дудел в эту чертову штуку, а мехи надувал задней лапой — он бы всю ночь играл, не останавливай я его. Ради того и жил — чтобы быть первым. Ну а в голове что? В голове у него что-нибудь было, у этого пса? А я вам скажу. У меня он прожил четыре с половиной года, пока не сдох от легочного... истощения. И за все время пес этот имени своего не выучил! Я вам правду говорю. То есть если не считать музыкального таланта, пес этот, по человеческим понятиям, был умственно неполноценным. Просто дегенератом, сказать по правде. Положим, я ушиб ногу и говорю — “Черт!” — кто, как вы думаете, бежит ко мне, виляя хвостом? Поневоле станешь философом, скажу я вам.

Приведу другой пример. Один из лучших номеров в моей карьере импресарио — Мисс Мулатка и ее Голуби. Видели когда-нибудь эту детку? Знаете, что она делала, эта детка? Клянусь Богом, это правда, она умела ворковать по-голубиному! Клянусь. На чистом голубином языке. Эта детка рассовывала своих голубей по всему залу — одних здесь, других там, третьих аж вон там. А потом становилась в центре сцены и начинала говорить с ними — целые тирады на голубином языке, я вам показать не смогу, я и по-английски-то не очень, — голубиная речь лилась из нее рекой. И вдруг все эти птицы — их было сто двадцать, я точно знаю, по шесть в коробке, двадцать коробок, тогда мне и пришлось купить фургон, — все эти рассованные по залу птицы выпархивали из своих укрытий, слетались к ней и окружали ее на сцене, как снежная буря. Фантастика. Можете такое вообразить? Можете вообразить, что она обращалась к каждой из этих ста двадцати птиц, при том что все птицы, может быть, говорили на разных языках? Однажды я спросил ее: “Мэри Бриджид, — сказал я, так ее звали, Мэри Бриджид О’Доннел, — что ты им говоришь?” А она тряхнула головой и ответила: “Кому говорю? Откуда мне знать, что я им говорю, Тедди? Я просто издаю звуки”. Понимаете?

Стучит по темени.

Ничего. Пусто. Но какой талант! Какая артистка! И еще одно: когда птицы вдруг все перемерли той зимой, в 1947-м, — все сразу, вот так, за сутки, мы тогда были в Кру, ветврач сказал, что это эпидемия лишая, — да, после того как птицы перемерли, Мэри Бриджид больше не выступала. Мне сдается, это было словно... словно кто-то сел на скрипку Иегуди Менухина и раздавил ее. Боже мой! Черт бы побрал этих артистов!

Тедди выбрасывает пустую бутылку и напевает.

1. “Радости любви” (франц.).

Ведь ты прекрасна
И лицом светла,
Твоя кожа — шелк.
В целом мире один он остался —
Незабвенный облик твой...

Вот что я вам скажу. Если вы думаете сделать карьеру в шоу-бизнесе, я вам кое-что скажу, это совет бесплатный, но дорогого стоит, то было мое единственное правило, выработанное за годы профессиональной деятельности, — так вот, если вы собираетесь работать с великими артистами, то ваши отношения должны быть сугубо деловыми. В глубине души вы можете любить их или ненавидеть. Не имеет значения. Ваш клиент делает свою работу, вы — свою. Короче, вы дополняете друг друга. Но стоит вашим отношениям перерасти в дружбу или привязанность, как, поверьте, душа моя, все пропало. Единственное правило, которого я всегда придерживался: друзья есть друзья, работа есть работа, и, как сказал поэт, вместе им не сойтись. Так? Так. *(Показывает на афишу.)* Он? Нет, он не был великим артистом. Нет, конечно. Он был всего лишь посредственным артистом. В лучшем случае. Поверьте мне. Кому, как не мне, это знать? Разумеется, у него был талант. Талант? Таланта у него было больше, чем... слушайте меня, таланта у него было больше, чем... И мозгов тоже? Мозгов! Все, что было у этого чертова болвана, — это мозги! Боже милосердный, мозги! И что это ему дало, спрашиваю я вас, что ему от этих чертовых мозгов? Они его оскопили. Вот, сучье вымя, что они с ним сделали. Сдали его на живодерню! Ну и с чем приходится иметь дело? С фантастическим талантом, черт дери, у обладателя которого честолюбия ни на грамм, так как его оскопили его же сучьи мозги! Скажите мне, ну скажите же, мне правда хочется знать, как работать с таким клиентом, как жить с ним бок о бок? Что делать с таким артистом? *Скажите* мне! Не знаю! Я так и не научился! Господи Боже, неудивительно, что у меня язва!

Пауза. Тихим голосом.

Но когда мозги оставляли его в покое... Когда он был в форме...

Вспоминаю один вечер. Дело было в Уэльсе. В деревне Лланблетиан. В старой методистской церкви, которую мне сдали за десять шиллингов. За неделю до Рождества.

У нас ни гроша. Фрэнк сидит уже на двух бутылках виски в день. Он и Грейси жутко разругались, и она куда-то исчезла. А у меня в кармане куча неоплаченных счетов.

Так. Восемь вечера. Я открываю двери. Нельзя сказать, что публика сбивает меня с ног. Говоря по правде — никого. Ни души. Боже. И еще снег пошел. Я закрываю двери. У Фрэнка такой вид, будто он вот-вот умрет. Руки и плечи трясутся от лихорадки. “Достань мне выпить”, — говорит он. Я притворяюсь, что не слышу. Двери распахиваются. Толпа народу? *(Качает головой.)* Грейси. “Где гений? — кричит она. — Я пришла увидеть великого ирландского гения. Где он?” Он ее слышит и орет: “Вышвырни отсюда эту суку! Вышвырни отсюда эту суку!” — “Ах, так он здесь, правда? — говорит она и добавляет безумным, деланным голосом: — Врачу, исцелился сам!” — “Вон! Вон!” — орет он. “Гений!” — кричит

она. “Вон! Вон!” — “Гений!” Их голоса прокатываются под церковными сводами, отскакивая от огромных, грязных дубовых балок... Боже мой, скажу я вам, Боже мой...

Наконец — должно быть, уже почти девять, мы собираемся уезжать, — двери открываются и внутрь входит десять человек. Подробностей не помню. Среди них двое детей, это я помню, у одного огромный нарост на щеке. И еще женщина на костылях. И другая женщина, с кричащим младенцем на руках. И парень в темных очках и с белой тростью, ну, как у слепых. Еще пятеро или шестеро — не помню, кто именно, я же не знал тогда, что это будет за вечер, правда? Ах да, пожилой человек, фермер, хромой, его вела дочь. Все они садятся. Я исполняю свой долг: дамы и господа, и так далее, и тому подобное. Потом подхожу к Фрэнку и говорю: “Ну, Фрэнк?” А он очень медленно выпрямляется, и, когда я вижу его лицо, мне кажется, что его сейчас стошнит. Но он мне не отвечает и медленно, как бы это сказать, проплывает мимо меня, идет к ним и смешивается с ними.

Тедди медленно наливает остаток пива в стакан. Делает глоток.

Могу сказать только то, что это было... Нет, я не прошу вас поверить в то, что там произошло. Не хочу никого обидеть, но, сказать по правде, мне все равно, поверите вы мне или нет. А дело в том, что в тот вечер, в старой методистской церкви в деревне Лланблеттиан, что в уэльском графстве Гламорганшир, исцелились все. Все десять. Все выздоровели. Я и раньше видел, как он делает фантастические вещи, но никогда в таких масштабах. Никогда. И вот что еще забавно: никто не кричал, не ликовал, не прыгал от радости, ничего подобного. Даже слов почти никаких не было. Будто он не только избавил их от болезней, но и сообщил каждому из них чувство величайшего спокойствия. Звучит глупо, правда? Но так мне показалось.

А когда он закончил, все поднялись и стали пожимать ему руку, один за другим, очень официально. А старый фермер, тот, хромой, которого привела дочь, сказал краткую речь. Он сказал — с уморительным валлийским акцентом, мне его не передать, — он сказал: “Мистер Харди, пока в Гламорганшире живут люди, вас здесь будут помнить”. Он сказал это так, что не поверить было невозможно. А “Гламорганшир” прозвучал так, будто это “целый свет”. Потом вытащил бумажник и положил его на стол со словами: “Надеюсь, сэр, вы не обидитесь”. И они все вышли.

Краткая пауза.

Да, это был великий день. То есть мы были потрясены — Грейси, я, сам Фрэнк. Мы просто стояли и смотрели друг на друга. То есть десять человек, всего за несколько минут. Он точно помешался от радости. Бросился обнимать меня. Расцеловал в обе щеки. Подбежал к Грейси, схватил ее, поднял на руки и стал кружить ее вдоль прохода между рядами. Они пели во весь голос “Свет мой, сохрани”, пели и пытались танцевать, пели и покатывались со смеху. А потом он распахнул двери, они выбежали на улицу и стали петь и танцевать на снегу. Ну и парочка! Господи, ну и парочка! Словно дети. Ну дети, право слово. Я услышал, как

зафырчал мотор фургона. Но когда я выбежал из церкви, их и след про-
стыл. Вот так. Четыре дня от них ничего не было. Оказывается, они от-
правились в какой-то роскошный отель в Кардиффе и жили там, пока в
карманах не стало пусто. Ну точно дети. Легкомысленные. Нет чтоб по-
думать о завтрашнем дне. Но без злого умысла, без всякого злого умы-
сла. Все-таки при таких стесненных обстоятельствах — пожалуй, бездум-
ные. Вообще-то их можно понять, после такой-то ночи, правда? Просто
немного бездумные — вот и все.

Не переставая говорить, он подходит к шкафчику за очередной бутылкой.

Да, какая все-таки необычная пара. Господи, какая необычная пара.
Я хочу сказать: прожить вместе большую часть жизни и так жестоко ссо-
риться. То есть засаживать нож по самую рукоятку. Никогда этого не по-
нимал — почему двое людей так себя изводят? Случай для психоаналити-
ка, верно? Конечно, они могли разбежаться в разные стороны. Почему
не разбежались? Ох, не спрашивайте меня. Боже мой, почему я не оста-
вил их и не нашел что-то попроще и поприятнее, ну, свистящего дель-
фина, например? Чего они, собственно, ссорились? Можно сказать,
ссорились они потому, что ему в конце концов нужна была только его
работа — и это правда. А можно сказать, ссорились они потому, что ей в
конце концов нужен был только он — и это, наверное, тоже правда. Но
когда вы пытаетесь связать одно с другим, получается, как бы сказать,
полуправда, понятно я говорю?

Можно, наверное, сказать и по-другому: артист вообще не должен
жениться. Я и такое слышал. И после большой карьеры я как импреса-
рио склонен заключить, что тут содержится вполне рациональное зер-
но. Вспомним хотя бы моего Роб Роя, Дудочника. Только подумайте, ка-
кое бы я мог сколотить состояние, ведь моего кобеля знала вся округа.
На плате за случку. Все в очередь выстраивались со своими суками. Вы-
страивались в сучью очередь. Предлагали по двадцать фунтов за раз. Я
думал, что сижу на золотой жиле. Знаете, что я сделал в предвкушении
богатства? Поставил надгробие на могилу своей матушки — из черного
каррарского мрамора, высотой в пятнадцать футов, с гравировкой зо-
лотом. Обошлось в двести четырнадцать фунтов. Так, и что же происхо-
дило каждый раз? А я скажу. Я вхожу в комнату с очень красивой и чув-
ственной гончей сучкой. Он только что закончил репетировать и теперь
лежит в корзине, переводя дух. Я ему говорю: “Посмотри на нее, стари-
на Роб. Ну кто тебе еще нужен, а?” Но он капризный — даже глаз не под-
нимает. А сучка, она вращает белками, и вся дрожит, как чертовка-цы-
ганка. “Ну давай, мальчик, — говорю, — давай же, давай. У тебя отличная
подружка”. И что он делает всякий раз? Поднимается. Широко зевает.
И потом вдруг — вот так! — прыгает, чтобы вцепиться ей в горло! В ее су-
чье горло, черт побери! Пытается разорвать ее в клочья! Он, конечно,
глуп, но не настолько! Он прекрасно знает, к чему все это! Уж поверь-
те — знает! Боже мой, в иные дни у него так слюнки текли от похоти,
что я не смел повесить на него чертову волюнку! А посмотрите, что он
делает, когда ему на блюде подадут лучших в стране сук, и каждая
только его и ждет! Пытается вцепиться ей в глотку и одновременно оск-
вернить память моей матушки! Ох, боже мой, артисты! А вы говорите!

Собирает со стола пустые бутылки и выбрасывает их в мусорное ведро. При этом не перестает говорить.

[170]

ИЛ 11/2007

Взлеты и падения, потери и удачи, вверх и вниз, разве не так?

И если вечер в Лланблетиане стал одним из наших триумфов, то неделя, которую мы провели в той деревеньке, в Сазерленде, оказалась самой горькой. Для Грейси. По крайней мере для Грейси. Да и для меня, думаю, тоже. С тех пор уже много лет прошло. Примерно тогда он начал пить не просыхая. Так или иначе, мы были на севере, в Шотландии — как же называлась та деревенька? Инвербуи? Инверберви? Кинлохберви? Именно! Кинлохберви! Очень маленькая, на краю света, на самом севере Сазерленда, севернее в Шотландии и ехать некуда, с видом на остров Льюис в Гебридах.

Эта деревня всегда у меня перед глазами — такая, какой мы ее увидели. Мы взобрались по длинному, крутому склону, тонувшему во влажной мгле, и, наконец, стали на вершине холма. А там внизу, в долине лежала Кинлохберви, купающаяся в лучах солнца. Мы уже месяц не видели солнца. А тут эта фантастическая деревенька у самого моря — синяя, и белая, и золотая, искрящаяся, ну просто небесная. А Грейси поворачивается ко мне и говорит: “Тедди, здесь родится мой малыш”. Хотя до родов у нее оставалось еще три недели. Но она оказалась права. Именно там ребенок и родился.

Так. Мы спускаемся в долину, и милях в двух от деревни передний мост — тррах! — летит к чертям. Здорово. Фрэнк лежит сзади в отключке. Так что я оставляю Грейси греться на солнышке у каменной стены и пешком тащусь в Кинлохберви за помощью.

Это было утро четверга. В следующую пятницу мы все еще там, все еще ждем местного рыбака по имени Кемпбелл, который ушел в море на траулере, ждем потому, что он единственный местный, у кого есть трактор, а мы зависим от его матери, которая, как оказалось, глуха как пень, ждем, чтобы она убедила его, когда он вернется, чтобы он оттащил нас за тридцать пять миль, в другую деревню, где живет кузнец, но есть опасность, что кузнеца тоже не будет дома, так как сестра его, Энни, выходит замуж за почтальона из Глазго, и кузнеца, может статься, позовут на свадьбу шафером. В общем, обычная история. (*Кричит.*) “Душа моя, ты уверена, что этот кузнец сможет починить передний мост?” — “Ах, Энни, рослая, сильная, кареглазая красавица”.

Так. Делать нечего. Денег, как обычно, кот наплакал, так что Грейси и Фрэнк спят в фургоне, а я — в поле неподалеку. Я не против — погода стоит прекрасная. Проходит суббота — Кемпбелла нет. Проходит воскресенье — Кемпбелла нет. А вечером в воскресенье... она рождает.

Очень медленно он достает новую бутылку, открывает ее, наливает пиво в стакан. При этом напевает сквозь зубы первые строки песни “Незабвенный облик твой”. Потом говорит, внезапно закипая гневом.

Боже мой, надо признать, что во многом он вел себя как мерзавец! Я знаю, что он сильно пил, — я знаю, я все это знаю! Но, бога ради, взять и уйти, когда твоя жена вот-вот разродится твоим ребенком, да еще где-то в чертовой глуши, то есть сделать это нарочно, это ведь злонамеренность, правда? Сомнений тут никаких, сердце мое: он сделал это умыш-

ленно, он сделал это намеренно. У нее начались схватки, я иду за ним и вижу, как он подымается по склону холма. Я его зову и знаю, что он меня слышит, но он не отвечает. О, Христе, где-то глубоко в этом человеке гнезвился убийца.

Пауза. Он отпивает из стакана, ставит его на стол и смотрит на него.

Не знаю... Не знаю, как мы справились. Боже, как вспомню об этом... Она лежит на моем старом плаще в кузове фургона... кричит, зовёт его... и вся эта кровь... Она бьет ногами... босые ноги упираются мне в плечи... "Фрэнк! — кричит она. — Фрэнк! Фрэнк!" А я говорю: "Родная моя, он идет, он идет, родная моя, он на подходе, он вот-вот будет здесь..." А потом это — это мокрое крохотное нечто с черным лицом и черным тельцем, крошечное, совсем маленькое... мальчик это был...

Пауза.

А после она была фантастической, просто потрясающей. Она держала его на руках, просто сидела у края дороги, спиной прислонившись к каменной стене и вытянув ноги, просто сидела на солнце и смотрела на него. А спустя примерно полчаса сказала: "Теперь, Тедди, надо его похоронить". И мы пошли в поле, мне пришлось отгонять увязавшихся за нами коров, и я вырыл яму, и положил его туда, и засыпал яму землей. Она спросила, не прочитаю ли я молитву над могилой, а я сказал, конечно, родная, разумеется. Но поскольку я человек не очень набожный, я не знал слов на память. Поэтому я просто сказал, что это ребенок Фрэнсиса Харди, целителя, и его жены, Грейс Харди, граждан Ирландии, и что здесь, в Кинлохберви, в Сазерленде, их ребенок упокоился, и да смилостивится Бог над всеми нами.

Все это время она стояла очень тихо и спокойно. А когда эта небольшая церемония завершилась, она обхватила мою голову руками, притянула к себе и поцеловала в лоб. Только один раз. Поцеловала в лоб.

Тем же вечером я смастерил крест, покрасил его в белый цвет и водрузил над могилкой. Может быть, он все еще там. Как знать. Милях в двух к югу от деревни Кинлохберви. В поле, по левую руку от дороги, если ехать на север. Может, он все еще там стоит. Почему нет? Кто знает?

Пауза.

Он вернулся в отличном расположении духа, перед самыми сумерками. Ох! Да, трезвый как стеклышко, такой весь подтянутый, чуть загоревший, самоуверенный. Вернулся и стал обсуждать со мной планы — стоит ли нам переправиться на Гебриды, или, может быть, на восточное побережье, или подумать о поездке еще дальше на север, теперь, когда установилась хорошая погода, — в общем, говорил только о делах, на которые ему всегда было наплевать. Он казался таким собранным, что некоторое время я думал... Я думал: Бог мой, он не знает! Он действительно не знает! Но потом вдруг, посреди обсуждения этих грандиозных планов, я увидел, как он косится в сторону фургона, пытается заглянуть внутрь. Не то что он мог что-нибудь там увидеть — я все уже вымыл и вычистил, — но по тому, как он смотрел туда, не переставая говорить, я по-

нял, что он знает. И не просто знает, а знает все, до мельчайших подробностей. И хотя он не умолкал ни на секунду, как-то необычно глядя на меня в упор, я понял и то, что — ох, не знаю, как это выразить, — у меня создалось впечатление, что — учитывая, какой он был человек, — одним словом, мне показалось, нет, я точно *знал*, что он *вынужден* говорить без остановки, потому что он пережил все то же, что пережила она, и теперь он... может рухнуть на землю без сознания. Да-а. Забавно, правда? И много раз после этого мне виделось, как он идет вверх по склону холма тем воскресным днем, будто спешит на какую-то важную встречу, идет скорым шагом, опустив голову и делая вид, что не слышит моего оклика. И я думаю, что, может быть... конечно, он сделал это умышленно, я не отрицаю... но, учитывая, какой он был человек, и этот его странный дар, я думаю, что, может быть, он должен был по-своему смотреть на вещи...

Ну, не знаю. Не мое это дело, правда? Не моя забота, слава богу, если только это не касается выступлений. Послушайте, я дам вам бесплатный совет, душа моя, но он дорогого стоит — это *единственное* правило, которого я всегда придерживался: друзья есть друзья, а работа есть работа, и вместе им не сойтись, как сказал поэт. Так? Так.

Он медленно идет в глубь сцены со стаканом в руке и останавливается у афиши. По ходу он тихо напевает строки: “В стужу, в час тоски ночной, Когда мир застыл”. Потом читает.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФРЭНСИС ХАРДИ. ЦЕЛИТЕЛЬ. ТОЛЬКО ОДИН ВЕЧЕР. Хорошая афиша, правда? Целую жизнь посвятил сцене — и это единственное, что у меня осталось. Факт. Знаете, говорят, что некоторые люди нашей профессии все в дом тащат: газетные вырезки, афиши, объявления, фотографии. Но это не для меня. Я имею в виду, что надо быть реалистом, понимаете, жить в настоящем. Взять, например, сэра Лоренса — вы думаете, он целыми днями рассматривает старые альбомы? Нет, на это у нас нет времени. Уж поверьте, я изведал вкус славы и благодарен за это судьбе. Но соловья, как говорится, баснями не кормят, так?

Только представьте себе, сердце мое, что эту афишу чуть не выкинули на помойку! То есть ее-таки выкинули — я случайно заметил ее в куче вещей, которые домовладелец Грейси вынес на улицу, чтобы их забрал мусорщик. Я сразу приехал к ее дому из Паддингтона, из морга, полицейский дал мне адрес. Вот я иду вдоль улицы, ищу дом номер 27. И натякаюсь на афишу, она лежит у крыльца, где ее оставил домовладелец. Если бы шел дождь, она бы размокла, понимаете? Но она лежала там почти как новая. И только я ее поднял, как проходящий мимо человек, прилично одетый, говорит мне: “Как вы смеете покушаться на частную собственность, сэр!” (*В бешенстве.*) Я поймал его за шиворот, поднес к носу кулак и сказал, я сказал ему: “Еще раз разинешь пасть, блядский выродок, еще только раз разинешь свою вонючую пасть, я тебе морду сверну!”

Пауза. Он замолкает и пытается взять себя в руки.

Простите. Но я просто обезумел от ярости. Только полчаса назад этот полисмен привез меня в Паддингтон, и у меня еще шок. И потом всего

год прошел после событий в графстве Донегол: после той ночи в баллибегском пабе, а потом длительного ожидания суда над этими чертовыми ирландскими головорезами, и никто в зале суда не понимает ни черта из того, что я говорю, — им пришлось вызвать переводчика, чтобы тот объяснил судьбе по-английски, что говорит единственный в комнате настоящий англичанин! О Боже!

Я как раз отхожу от всего этого, как однажды утром заявляется сюда этот полицейский, как раз когда я бреюсь, я открываю дверь, а он спрашивает мое имя, и я говорю ему, а он говорит, что я должен немедленно ехать с ним в Паддингтон...

Он осекается и долго смотрит в зрительный зал. Потом продолжает.

Вот что я вам скажу — почему бы мне не вернуться на год назад и не рассказать вам сперва о той ночи в Баллибеге? Почему бы нам не поступить так? Почему нет?

Он достает новую бутылку, открывает ее, наливает пиво в стакан.

Был последний день августа: мы переправились из Странрара в Ларн и всю ночь ехали в графство Донегол. Там мы остановились в пабе, по сути, в небольшой гостинице с первоклассным баром, у въезда в деревушку Баллибег, недалеко от городской черты Донегола.

Он отпивает из стакана и ставит его обратно. Пауза.

Знаете, какой была та ночь в Баллибеге? В том пабе? Знаете, как я провел ту ночь? Всю ночь я просто смотрел на них. На мистера и миссис Фрэнк Харди. Сидящих рядышком. Они вместе и в Ирландии. Дома, в Ирландии. Спокойных. Непринужденно беседующих. Смеющихся. И мне показалось, что я вижу их впервые за много-много лет — нет, не вижу, а *вспоминаю!* Смешно, правда? Я не имею в виду, что они были для меня незнакомцами — незнакомцами! То есть Фрэнк и Грейси, как они могли быть незнакомцами для *меня!* Но мне казалось, что я вижу их такими, какими они были когда-то, какими они *могли быть* все это время — без горечи, и размолвок, и проклятого фургона, и запаха примуса, и неоплаченных счетов, и грязных комнат, и попоек, и тех стычек, выше которых нам, похоже, так и не удалось встать. А в тот вечер они были такими, будто все это ушло, будто все это как отрезало.

Они сидели в центре большого круга в этом большом зале, и каждый хотел с ними говорить, и они говорили с каждым, а иногда обменивались репликами друг с другом и даже касались друг друга — просто и непринужденно.

Она сидела в кресле чуть подавшись вперед. Была оживлена, разговаривала со всеми сразу, смеялась. В красном платье. Убранные назад волосы перевязаны черной лентой. Как мне объяснить вам, насколько она была прекрасна?

Потом, уже около полуночи, кто-то сказал: “Может, ты споешь для нас, Грейси?” И так естественно, как будто она делала это каждый день, она встала и спела ирландскую песню под названием “Верь мне, если милые черты / На которыезираю я с любовью...” Черт возьми, я не хо-

чу сказать, что песня так называется. Это, черт возьми, почти весь первый куплет. Нет, не то что она потрясающе пела, вовсе нет. У нее, знаете ли, был очень тонкий, немного дрожащий голос, ну, как у десятилетнего ребенка. Но вот она встает в этом ирландском пабе, в красном платье, с убранными назад волосами... и поет... и смотрит на него. А мы все смотрим на нее. А песня — песня льется сама собой, мягко и печально, словно это не она ее поет, а песня существует отдельно от нее. А я сижу рядом, в сторонке, сижу очень тихо, очень прямо. И говорю себе: “О Боже, Тедди, мальчик... О Боже мой... Что же тебе делать?”

А потом я взглянул на Фрэнка, случайно бросил на него взгляд, — знаете, бывает так, посмотришь непроизвольно — и понял, что он пристально смотрит на меня. И его взгляд, выражение его лица были такими, как когда он точно знал, что вылечит сейчас какого-то человека. Не знаю, трудно объяснить, если вы никогда не видели. Это взгляд очень серьезный и сочувственный. Он означает две вещи. Во-первых, ничего не нужно говорить, я знаю, какой у вас недуг. Во-вторых, сейчас я излечу вас от этого недуга. Вот как он на меня смотрел. Он смотрел на меня так... где-то с полминуты. А потом отвернулся и стал смотреть на нее — и почти вынудил меня перевести на нее взгляд. И вот я вижу перед собой эту потрясающую женщину, которую очень люблю и которая замужем за человеком, которого я тоже очень сильно люблю, может быть, даже сильнее. Вот и все. Ничего больше. Вот и все. И этого достаточно.

И впервые за двадцать лет мне стало так хорошо — так хорошо, сердце мое, что я... Знаете, что я сделал? Я наполнился на радостях — надрался неспешно и намеренно. Кто-то, должно быть, отнес меня наверх, в кровать, потому что следующее, что я помню, это как Грейси колотит меня в грудь, как она кричит и рыдает: “Вставай, Тедди! Вставай! Случилось страшное! Случилось ужасное!”

Длинная пауза. Он приносит новую бутылку.

Я уже рассказывал вам об афише, как она валялась на улице у дома, где были меблирашки Грейси. Да, вот так. И как я приехал из Паддингтона, и как полицейский дал мне ее адрес. Точно, все это я вам рассказывал. Это случилось день в день через год после ночи в Баллибеге.

Ну вот. Я бреюсь. Стук в дверь. Этот полицейский. Спрашивает мое имя. Я ему говорю. Просит меня поехать с ним в морг в Паддингтоне, чтобы опознать тело. Какое тело? Тело дамы. Какой дамы, спрашиваю. А он говорит — миссис Грейс Харди. А я говорю, бросьте, она в Ирландии, я ее там оставил. А он говорит, что я ошибаюсь, последние четыре месяца она жила в Лондоне, в меблированных комнатах, дом номер 27 по Лаймвуд-авеню. Лаймвуд-авеню! Так вот здесь же Лаймвуд-гроув! Лаймвуд-авеню всего в четырех кварталах ходьбы отсюда. Я спрашиваю, и что же, она сейчас там, в доме на Лаймвуд-авеню? Нет, говорит он, она умерла, она в морге. А я говорю, вы, должно быть, ошибаетесь, полисмен. А он говорит, ошибки быть не может, она умерла от передозировки снотворного, и не буду ли я так добр и не поеду ли с ним для проведения официального опознания.

Итак, полицейский привозит меня в Паддингтон в своем фургоне — фургончик почти как наш. Только его фургон наверняка застрахован. Внутри все то же — два сиденья вперед: я за рулем, она рядом, а Фрэнк

сзади, сторбившись, с бутылкой между коленями. Да, это была она, Грейси, никаких сомнений. Прекрасная. Господи, я и выразить не могу, как она была прекрасна.

А полицейский спрашивает: “Это Грейс Харди?” — “Да, — отвечаю, — это она”. — “Вы хорошо ее знали?” — “О да, — говорю я, — нас двадцать с лишним лет связывали профессиональные отношения”. Так и было, профессиональные отношения, правда? Ну, во всяком случае, ничего, кроме профессиональных отношений, так ведь?

Некоторое время он стоит, вглядываясь в зал. Потом уже никого не видит. Он садится на стул и заводит пластинку. После первых нескольких строк песни свет быстро гаснет.

Акт четвертый

Фрэнк

Афиша исчезла. На сцене только единственный стул, поверх которого брошено пальто Фрэнка, ровно так, как он его оставил в первом акте.

Фрэнк стоит слева у рампы, там же, где мы его оставили.

В этой последней картине Фрэнк чуть менее отстранен, чем в первом акте, хотя назвать его взволнованным было бы неверно. Но что-то свидетельствует о несколько учащенном сердцебиении, о чем-то близком к волнению — возможно потому, что его мысли безо всякой видимой связи перескакивают с одного предмета на другой, а движения чуть более резкие, чем раньше.

ФРЭНК (*глаза прикрыты*):

Аберардер, Кинлохберви,

Аберайрон, Кинлохберви,

Инвергордон. Кинлохберви... в Сазерленде, на севере Шотландии...

Он открывает глаза. Очень краткая пауза. Затем, быстро оживляясь:

Но я вам об этом уже рассказывал, правда? Как мы отдыхали в Кинлохберви, когда я получил известие о смерти матушки? Да, конечно рассказывал. Все это я уже говорил. (*Приходит в движение.*) Живописное местечко, очень тихое, очень красивое, с видом на остров Льюис... севернее и ехать некуда... в Шотландии...

Он идет по сцене. Рыщет по карманам. Извлекает газетную вырезку, ветхую и поблекшую.

Я возил ее с собой годами. Вырезка из “Вест Гламорган кроникл”. “Поистине необычайное событие произошло вчера в вечером, 21-го декабря в старой методистской церкви Лланблетиана. Странствующий ирландский целитель по имени Фрэнсис Хардинг...” Почему-то они так и не... (*Он презрительно передергивает плечами.*) “...излечил десятерых местных жителей от разнообразнейших недугов, в том числе от слепоты и полиомиелита. Нужно ли объяснить эти ошеломляющие случаи исцеления силой самовнушения или же господин Хардинг действительно об-

ладает силой внеземного происхождения...” Хорошее словечко, “внеземного”. “...мы установить пока не в состоянии. Однако наше предварительное расследование показывает, что тем вечером в Лланблетиане произошло нечто действительно из ряда вон выходящее”.

“Из ряда вон выходящее”... (Смешок.)

Не знаю, зачем я хранил ее так долго. Документальное свидетельство? Не думаю. Утешение? Нет, не то. Может быть... может быть, просто как удостоверение? Да, наверное, поэтому я ее и хранил. Эта заметка *удостоверяла*, кто я, хотя они и напутали с именем.

Да, то был *действительно* странный вечер. Один из редких вечеров, когда я мог, когда я смог бы сдвинуть горы. Десять человек, один за другим. И лишь один из них вернулся, чтобы поблагодарить меня, — старый фермер, хромой. Помню, наутро я сказал Грейси: “А где остальные девять?” — в шутку, конечно. Конечно, в шутку. Но она предпочла истолковать мои слова превратно, и мы снова поссорились.

Да, я таскал эту заметку с собой годами. Пока мы не вернулись в Ирландию. А тем вечером в пабе, в Баллибеге, я ее скомкал (*комкает вырезку*) и выбросил.

Я ни разу не видел отца Грейси, судью. Вскоре после того, как мы с ней сбежали, он написал мне письмо. Но я никогда с ним не встречался. Он писал — это единственное, что мне запомнилось, — он выразился так: “увлекли моего единственного ребенка на путь мерзкой софистики”. Я помню, что разозлился и швырнул ей письмо. А она прочла эту строчку вслух и с хохотом повалилась на кровать — она хохотала и дрыгала ногами, снова и снова повторяя эту фразу, наверное, для того, чтобы показать, насколько она мне предана. Помню, мне подумалось, как же молодо она выглядит и как жестоко смеется над отцом. Мой гнев уже утих, и я даже немного позавидовал этому человеку, который с такой уверенностью пользуется словом “софистика”.

Мне бы хотелось, чтобы у нас был ребенок. Но она была бесплодна. Так или иначе, жизнь, которую мы вели, едва ли подходила ребенку. А ведь у него мог быть дар. Возможно, он распорядился бы им лучше, чем я. Я бы ничего от него не требовал — ни любви, ни привязанности, ни уважения, — ничего подобного. Но я бы радовался, просто глядя на него. Да. Ребенок не дал бы соскучиться. Что такое клочок бумаги? Или те странные мгновения ужаса, благодарности, восхищения? Ничто, ничто, ничто...

(*Оглядываясь.*) Так всегда и было — убого, тускло, запущенно. Что бы там ни говорил Тедди, нас так и не пригласили в королевский дворец. И даже в загородный особняк. А было бы интересно, хоть раз — не из тщеславия, нет, нет, но чтобы понять, проявилось бы *это* в других условиях, просто чтобы убедиться, что не в отчаянии, не в самоотречении тех несчастных таилась сила исцеления. Да, было бы интересно.

И все же... и все же...

(*Внезапно, скороговоркой.*) Ни на секунду, ни на долю секунды меня не ввел в заблуждение тот теплый, товарищеский, почтительный, игривый, бесшабашно радостный и ностальгически родственный прием той ночью в пабе в Баллибеге. Нет, ни на секунду. Разумеется, я тоже держался дружелюбно. Естественно, я держался дружелюбно. Конечно, мне пришлось в голову, что, может быть, наконец — что наконец? — произойдет воссоединение, слияние, вдохновенное открытие. Да, такая

мысль мелькнула. Но в ту самую минуту, как этот парень Донал погрозил мне проклятым скрюченным пальцем, иллюзии рассеялись. И я понял, я нутром почувствовал, зачем я им был нужен.

Аберардер, Кинлохберви,
Аберайрон, Кинлохберви,
Инвергордон, Кинлохберви...

На чем мы остановились? Ах да, Тедди ушел спать, а Грейси закончила уборку — я слышал ее шаги наверху. Ну, а свадебные гости отправились за Макгарви. В огромном, безвкусно украшенном зале остались только я и хозяин.

Я обошел зал несколько раз.

Я подумал о мирно спящем наверху Тедди. Может быть, я держался за него из чистого эгоизма, может, мне следовало отпустить его уже давно, много лет назад. Нет, сказал я себе. В своей преданности Тедди черпал силы. И, возможно, как раз теперь я лишаю его последнего оплота.

И еще я подумал о матери Грейси, о той нашей единственной встрече в Дублине, она как раз собиралась обратно в лечебницу. Мы обедали в ресторане, мы трое, Грейси, она и я. Она не проронила ни слова, пока Грейси не отошла заплатить по счету, а потом сказала: “Знаете, у меня больные нервы”. Она чуть отвернула голову, но при этом смотрела прямо на меня и улыбалась. Я сказал, что знаю. Боялся, что она попросит меня о помощи. “Что вы об этом думаете?” Я выразил уверенность, что на этот раз ей станет лучше. “Знаете, есть вещи и похуже”, — сказала она. Я сказал, что знаю. “Гораздо, гораздо хуже”, — теперь она выглядела почти счастливой. “Посмотрите на ее отца — он помешан на порядке. Это хуже”. Наверное, ответил я. “А Грейс — ей нужна преданность, и это еще хуже”. — “Вы так думаете?” — спросил я. “А что нужно вам?” Но Грейси вернулась, прежде чем я успел ответить, и улыбка исчезла с ее лица, голова поникла. Я никогда больше не слышал ее голоса.

И еще я вспомнил — внезапно, безо всякой на то причины — тот день, когда отец взял меня с собой на лошадиную ярмарку в Балинасло. Все, что мне запомнилось из событий того дня, — это эпизод в пабе, уже после ярмарки. С нами пошел Имон Бойл, отцовский приятель. Они оба были навеселе. Бойл положил руку мне на голову и спросил отца: “Фрэнк, а кем станет этот молодой человек?” А отец широко улыбнулся и сказал: “Клянусь Иисусом, Бойл, ему непросто будет обойти своего папку!” И впервые в жизни я увидел, что во рту у него полно гнилых зубов. Помню, я устыдился того, что это заметит и Бойл. Просто случайное воспоминание. Так, глупости. Ничего особенного. Но тем вечером я почему-то об этом вспомнил.

И еще я подумал о первой большой ссоре с Грейс. Не помню, в чем было дело. Но помню точно, что мы тогда остановились в Норфолке, жили в переделанном под дом коровнике. Она присела у очага, пытаясь разжечь несколько сырых поленьев. Своих слов я не помню, но помню ее ответ: “Если ты оставишь меня, Фрэнк, я покончу с собой”. Это не было помешательством — напротив, она была почти спокойна, даже улыбалась. Но по тому, как она посмотрела на меня, глядя прямо и слегка повернув голову, я понял — только тогда понял, — что материнского в ней больше, чем отцовского. И еще я понял, что должен оставаться с ней до конца.

Идет в глубь сцены. Пауза.

Я, верно, часа два мерил этот зал шагами. И за все время хозяин ни разу не вышел из-за стойки. Он не сказал ни слова после того, как ушли свадебные гости. Он даже ни разу не взглянул на меня. Мне кажется, он меня ненавидел. Нет, я точно знаю. Я попросил выпить. Тогда он захлебнулся словами: “Убирайтесь-ка отсюда подобру-поздорову, мистер, пока они не вернулись! Я этих ребят знаю — жестокие звери. А Макгарви вы никак не поможете — никто никогда не поможет Макгарви. Вы знаете”. — “Знаю”, — ответил я. “Но если вы не поможете Макгарви, мистер, они вас убьют. Я их знаю. Они вас убьют”. — “Я и это знаю”, — сказал я. Тут он спешно скрылся в задней комнате.

Я налил себе сам. Маленькую порцию ирландского пополам с водой. Мне пришло в голову напиться, но я отмел эту мысль как... неприличную. Чуть позже я услышал, что снаружи остановился подъехавший автомобиль. Тишина. Потом из двери показалась голова Донала.

— Макгарви здесь. Но он стесняется. Выходи ты. Они ждут тебя там, во дворе.

— Иду, — сказал я.

Он надевает шляпу и пальто и медленно застегивает пуговицы. Потом продолжает.

В действительности там было два двора. Первый, куда я вышел, располагался непосредственно за пабом и представлял собой крошечное пространство, полускрытое навесом, темное, заставленное бочками и коробками с пустыми бутылками, пахнущее затхлым пивом и отхожим местом. Я знал, что это не то.

Потом я нашел деревянную дверь. Прошел в нее и оказался в другом, большем по размеру дворе. И я сразу его узнал.

Мне хочется описать вам этот двор.

Стояло сентябрьское утро, только рассвело. Небо было оранжевого оттенка, и все источало тихий свет, словно каждый камень и каждый предмет сознавали свою отдельность и были собой довольны. Двор имел форму правильного квадрата, ограниченного задней стороной здания и тремя высокими стенами. В стене, к которой я стоял лицом, виднелся арочный проем.

Почти в центре площади, чуть слева от меня, стояли трактор и прицеп. В кузове прицепа виднелись четыре инструмента — топор, лом, киянка и вилы. Их прислонили к стенке кузова.

В углах двора, у противоположной от меня стены, росли две большие березы, их легко колыхал ветер.

Земля во дворе оказалась вымощена, и по стертым от времени булыжникам было приятно ступать.

И я пошел через двор по этим гладким булыжникам к арочному входу, потому что в его обрамлении, расположившись почти симметрично, стояли четверо гостей со свадьбы. А перед ними в кресле-каталке сидел Макгарви.

В утреннем свете эти четверо выглядели... какими-то маленькими; лица — бледнее, чем раньше; в петлицах черных костюмов целомудренно белели гвоздики. Нед стоял с левого края, Донал — с правого, а те двое, имен которых я так и не узнал, — посередине.

И Макгарви. Конечно, Макгарви. Какой-то усохший. И моложе, чем я представлял себе. Руки терпеливо сложены на коленях, ступни повернуты внутрь, голова слегка склонена набок. Вот, казалось, воплощенная кротость, образ бесконечного смирения. Ни толики свирепости. А на его плече отечески лежит рука Неда.

И хотя я знал, что ничего не произойдет, ровным счетом ничего, я пошел к ним. И пока я пересекал двор, меня охватило странное чувство, трепет откровения, как будто весь телесный мир — бульжники, деревья, небо, четыре зловещих инструмента — вдруг сбросил физическую оболочку и превратился в собственный прообраз, и теперь в целой вселенной нет никого, кроме меня и свадебных гостей. А потом это откровение уступило место еще более сильному чувству, будто даже мы утратили телесность и существуем только в духовной своей ипостаси, благодаря той потребности которую испытываем друг в друге.

Он снимает шляпу, как если бы входил в церковь, и подносит ее к груди. Кажется, что его охватил благоговейный ужас и одновременно радость. Произнося заключительные строки, он очень медленно движется к рампе.

Пока я шел к ним и когда я принес им себя в жертву, тогда, и только тогда, я ощутил, что действительно вернулся домой. Тогда впервые я не почувствовал парализующего ужаса. И смолкли сводящие с ума вопросы. Тогда наконец я отрекся от случайности.

Пауза длительностью секунды в четыре. Сцена быстро темнеет.

Память как пространство ошибки

Как часто — в беседе или в опасных проливах собственных воспоминаний — мы вдруг осознаем, что неточности, противоречия, несоответствия чуть “сдвинули” привычную картинку, изменили перспективу, и вот мы уже не уверены, в каком именно музее созерцали то полотно знаменитого живописца, а друг убеждает нас, что работа никогда не выставлялась, и видеть мы ее могли разве что в художественном альбоме. Канва истории остается неизменной, но подробности ускользают, скрываются за пеленой времени, тонут в ежедневных потоках слов.

Памяти присуща известная неоднозначность. Опыт, в том числе литературный, немислим без явных или подразумеваемых противоречий.

В какой мере Марию, сестру Марфы и Лазаря, умастившую Христа в доме Симона Прокаженного в Вифании (Ин. 11:2), следует отождествлять с грешницей, умастившей ноги Иисусу в доме Симона Фарисея в Галилее (Лк. 7:37—39)? Сколько ослов привели к Христу перед входом Господа в Иерусалим в канун Пасхи? Изменяют ли эти и еще десять тысяч спорных вопросов в синоптических Евангелиях суть благовествования? Отнюдь нет. Отражают ли они свойства нашей памяти? Безусловно.

Узлов разночтения в пьесе Фрила значительно меньше — около дюжины. Перечислим некоторые из них. Мы предполагаем, что герои “Целителя” *вспоминают* те двадцать с лишним лет, что провели вместе.

Вопрос о ребенке. Фрэнк утверждает, что Грейс была бесплодна. Точка. Не было никакого ребенка. В шотландской деревне Кинлохберви троица *отдыхала*, а Фрэнк уехал оттуда только потому, что получил известие о болезни матери. По версии Грейс Фрэнк был рядом с ней, он принимал роды, а потом похоронил младенца и поставил крест на могиле. По версии Тедди Фрэнк ушел в горы и оставил его и Грейс одних у фургона. Он сам, Тедди, принял роды, а затем исполнил печальный обряд.

Возвращение в Ирландию и фермеры-головорезы. Фрэнк говорит, что никогда не рвался обратно на родину — ехать в Ирландию его вынудили Грейс и Тедди. Те, в свою очередь, утверждают, что Фрэнк мечтал вернуться домой. Сколько их было в пабе, этих с замечательной лаконичностью описанных Фрилом (“белые гвоздики в петлицах... темные, квадратные лица”) *недобрых* фермеров? Четверо, а калеку привезли потом, под утро? Или пятеро, вместе с калекой? Кто заговорил первым — Фрэнк или Нэд? Сам ли Фрэнк предложил исцелить Донала и калеку Макгарви, или его вынудили заняться врачеванием? Это в конце концов важно, ведь в результате последнего “сеанса” главный герой, если воспринимать текст буквально, лишился жизни.

Замечательно, что умножение неоднозначностей в пьесе происходит почти незаметно. Кто предложил использовать песню Джерома Керна в качестве “фоновой” музыки? Сколько голубей было у мисс Мулатки, клиентки незадачливого Тедди? Три птицы? Или сто двадцать? Откуда родом Грейс? Из Йоркшира, как утверждает Фрэнк? Но почему, сбежав от Фрэнка, она отправляется “домой” в Кнокмойл — деревеньку в Северной Ирландии? И сбегала ли она от него вообще? Грейс считает Фрэнка выдумщиком, “пересоздававшим” мир вокруг себя. Так, может быть, Фрэнк выдумал и всех остальных — Грейс, Тедди, страждущих калек, жестоких фермеров, всю свою жизнь?

Впрочем, насколько все это важно?

В пьесе Фрила нарушена презумпция факта, и это, безусловно, роднит “Целителя” с релятивистской непреклонностью великих *идиотов* Беккета. Фрил мастерски (пусть и в несколько гротескной форме, ведь, поистине, трудно предположить, что человек запомнил, что у него был ребенок) отражает в пьесе удивительное качество нашей памяти — ее ненадежность. При всем уважении к кельтскому колориту пьесы, “Целитель”, наверное, еще и об этом — о трудности понять другого, о присущей человеческому опыту неоднозначности и о непростых взаимоотношениях между мыслимым и действительным.

Марк Дадян